

Елена Вельтман

Им привиделся сон



Елена Вельтман
Им привиделся сон

«Public Domain»

1846

Вельтман Е.

Им привиделся сон / Е. Вельтман — «Public Domain», 1846

«Светло смотрел полный месяц в зеркальные воды Лимана, и его отражение искрилось серебряною браздою на поверхности. У берегов, незаметная, робкая волна едва колыхалась, напоминая о жизни дремлющей воды. Вокруг, ароматные кустарники, перевитые розовыми отпрысками дикого винограду, перешептывались с тихим ропотом волн – ночь, полная неги, обнимала землю...»

Содержание

I. Холостая беседа	5
II. Роковая минута	9
III. Две зори	11
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Елена Вельтман

Им привиделся сон

*Chacun tourne en réalités
Autant qu'il peut ses propres songes
L'homme est de glace aux vérités;
Il est de feu pour les mensonges.*

La Fontaine.

І. Холостая беседа

Светло смотрел полный месяц в зеркальные воды Лимана, и его отражение искрилось серебряною браздою на поверхности. У берегов, незаметная, робкая волна едва колыхалась, напоминая о жизни дремлющей воды. Вокруг, ароматные кустарники, перевитые розовыми отпрысками дикого винограду, перешептывались с тихим ропотом волн – ночь, полная неги, обнимала землю.

На тигровой коже, разостланной на террасе небольшого загородного дому, лежала утомленная прекрасная женщина. Голова её склонилась на пунцовую бархатную подушку, по которой рассыпались её черные кудри, и восточный профиль её лица отделялся на ярком поле античным камнем. Полусонная красавица разметала легкие одежды свои; их нежная драпировка обрисовывала мягкие линии её роскошного стана. Не в дальнем от неё расстоянии, на низенькой кушетке, развалился молодой сибарит-юноша, цветущий здоровьем и красотой. Он смотрел на озаренную лучом месяца лежащую женщину, и жаркие грезы роились в голове его: одна ты знаешь тайну этих жгучих поцелуев, пылкая Еврейка, думал он. Под каким небом родилась ты? Что за пламень течет в твоих жилах?

Молодой человек прижал к пылающему лбу своему руку; сладкая свежесть ночи обливала распахнувшуюся грудь его. Он взглянул на тихое небо; чудное сияние и темный металлический блеск залива проникли в душу его таинственной гармонией. Жизнь – нескончаемое наслаждение! воскликнул он мысленно. Природа – вечная красота! Кто не изведал духовного сочетания с тобою и Творцом твоим, тот не жил и не любил... о, какая могучая сила любви наполняет меня! продолжал он безмолвно, снова взглянув на дремлющую красавицу: – я и тебя люблю, Сарра! Какая безграничная вера убажает душу мою – я и тебе верю, Еврейка! Я не купил тебя дарами: я молод и красив, не правда ли, я добр и ласков...

– Ты любишь меня, Сарра? воскликнул он в каком-то упоении, бросившись к лежащей женщине, и сильною рукою схватил её жемчужное ожерелье, которое разорвалось и рассыпалось по полу. На что тебе этот бисер? Ты сама бесценная жемчужина, моя красавица!

Внезапно пробужденная женщина дико взглянула на него, и в каком-то неистовом испуге бросилась собирать катавшиеся всюду зерна богатого ожерелья. Молодой мечтатель бросил ей оставшиеся в руке его дорогие нити, и вошел внутрь дома, унося с собою впечатление отвратительного выражения, мелькнувшего на прекрасном лице Сарры.

Там, в освещенном покое, вседневные гости его рассеянные по углам обширной залы, оканчивали один из праздничных вечеров, которые они давали себе по произволу, располагая приятною щедростью молодого друга, бросавшего богатство свое не с глупым тщеславием добившегося до этой соблазнительной возможности, не в хмельном угаре разгульного юноши: он тратил обеспеченные доходы свои с любовью, с прекрасным желанием сделать и других участниками чаши, которую вручило ему Провидение. Пусть, говорил он, и скука и горе,

и недостаток и заботы забудутся и заглушатся на веселых пирах моих. Пусть потонет всякая вражда в моих искромётных винах!

Несколько громких голосов приветствовало его появление веселыми шутками, и звонкий, электрический смех пробежал по собранию. Только в одном углу отозвался этот аккорд неприятным эхом; там сидел растрепанный, бледный отрок, на которого хмель действовал как-то неприязненно. И в нормальном положении бродящий мозг его, разгоряченный вином, выводил перед ним всех демонов его внутреннего ада – и зависть и гордость и бессилие терзали ничтожную душу; его смех прозвучал каким-то рыданием, от которого содрогнулось сердце амфитриона.

Его юное сердце, взлелеянное судьбою, содрогалось от долетавших до слуха его болезненных воплей жизни.

Молодой человек был создан для счастья, и счастье – это капризное божество, не могло избрать достойнейшего любимца. Пламенная душа была призвана для широких наслаждений; в светлой природе было одно сознание, что человек сотворен для рая – и это был не софистический, философский вывод, и вдохновенный инстинкт прекрасного сердца, которого младенческая неопытность жизни не могла сделать анализа этого чутья – юноше снились чудные грезы, в восторженном заблуждении он создавал из самого яда упоительный напиток, туманивший его сладким хмелем; и когда сквозь этот угар и мрак обаяния луч истины пробивался на него ненароком, она язвила его слабое зрение и пугала робкое воображение.

До сих-пор, огражденный очарованным кругом, воспитанный в этом искусственном мире, где золоченые купола возвышаются над избранною головою и охраняют ее от непогод жизни – он понимает страдание, как порожденное в нарушенной природе зло, для которого всюду расточены противоядия, и он хотел бы врачевать и целить эти раны, но их смрадное гниение возмущало его изнеженные чувства; отвращая взор, он спешил успокоить и рассеять его. Пылкое его сердце, околдованное, обманутое, безумно расточая сокровища свои, не любило, не веровало одной истине, – оно плодотворило божества свои и поклонялось им в слепоте языческой!

И трудно и невозможно становилось ему прозреть от этой слепоты среди театральной обстановки поддельного, очарованного мира, которая окружала его.

От самого его рождения, казалось, благодетельные феи слетелись отовсюду к колыбели своего питомца. Высокое происхождение, обширное состояние, атлетическое сложение, богатые задатки ума и сердца, все привилегии, все права жизни были даны ему в безграничное, роскошное распоряжение, и с ними в его власти были все блага и наслаждения... Но как, по сказочному обыкновению, на этих собраниях добрых волшебниц является всегда одна суровая, непрощенная гостья, и на пиру его, усыпанном цветами жизни, воссел угрюмый призрак, неблагонамеренный уродец, который, приподымая розовый покров, заслонявший жизнь от глаз юноши, представлял ему не живое дышащее тело её, а отвратительный, страшный остов, который ужасал ребяческое зрение... Этот призрак был врожденный инстинкт сознания себя в ложной сфере, желание истины; но с нею не могло еще сладить его робкое сердце.

Теперь, под омрачившим светлые думы его впечатлением, смотрел он, чувствуя какую-то нравственную темноту, на туманного приятеля, который, завладев влиянием случайного вокруг него собрания, на слух и зрение которого бархатный лафит хозяина успел уже навесить тройное покрывало, продолжал жаркое рассуждение о занимавшем тогда некоторые головы изумительном явлении, в лице подсудимой Марии-Капеллы Лафарж. Молодой человек неистово защищал и оспаривал, не дожидаясь возражений.

– Готов? сказал, махнув рукою, взглянувший на него добрый малый, неиссякаемый болтун и весельчак, которому пары развязывали язык до нескромности. Ты должен быть теперь в ударе, любезный. Произнеси-ко нам какое-нибудь новенькое проклятие, такое, каким ты умеешь напугать каждую потопленную бутылку.

– Vivat! воскликнул, наполняя бокал, молодой человек. Глаза его засверкали, гипократовский профиль его ослабился разительной чертою.

– Не дурно, сказал насмешник.

Разговор остановился на Лафарж. Из этого источника возник один из тех споров мыслящего общества, который степному дикарю показался бы, может-быть, крупной перебранкой, от которой недалеко до Бог знает чего; а паркетному профану, пожалуй, решением великого государственного вопроса; но который в сущности ровно ничего не значит, после которого, наговорившись и наслушавшись, расходятся, чувствуя только какую-то оскомину от терпких умосилий.

– Уж больно расшумелись, сказал, вполголоса, хозяину, вставая из-за ломберного стола, пожилой толстяк с двумя звездочками в петлице. Не слышно собственной в голове мысли, и об чем хлопчут, подумашь, прибавил он с видимым негодованием.

Амфитрион взглянул с угодливою улыбкой на расходившихся говорунов.

В его обращении с этим лицом была заметна какая-то особенная приветливость, какой-то отличный почет. Он проводил недовольного гостя до последней комнаты, выслушал терпеливо еще длинное, плодовитое неудовольствие на праздную болтовню молодежи нашего времени, которая пустословит и умничает и заставляет ставить ремизы, развлекая от головомных соображений мастей и расчётов.

– Мы, кажется, опять надоели ему, сказал веселый приятель, когда хозяин возвратился в залу.

– Он отправился доканчивать свою партию в клубе.

– Кстати о нем, продолжал словоохотный гость: послушай, пожиратель женщин, ты свел с ума эту миленькую шалунью, в которую я сам влюблен по уши. Бедняжка не знает в простоте ребяческого сердца, какой несметный рой милovidных врагов взбунтует её опасное появление в их рядах и какие бесчисленные притаенные жала теперь острятся на нее.

– С чего ты взял весь этот вздор? спросил молодой человек, тщетно усиливаясь не изобличить мелькнувшего в лице его самодовольствия.

– Она высказывает это в каждом слове и с нею нет средства вести разговор обиняками. Ты вразуми ее, между прочим, прибавил он с некоторою важностью: скажи ей, что это неосторожно, ни к чему не ведет и не годится.

– Она как будто находит удовольствие клеветать на себя, потому что я вовсе не могу похвалиться её предпочтением, сказал с добросовестною скромностью молодой человек.

– Шалишь, приятель, лукаво заметил товарищ. Я объясню тебе, если хочешь, эту нелепую страсть многих женщин, обнародовать те задушевные тайны, которые, обыкновенно, тщетно стараются скрывать другие. Между ними есть такие любящие создания, что они уже никак не остановятся на одной любви, им необходимо обожать своих избранников, и поставляя их выше всех полубогов мира, они похваляются ими в тщеславии женского сердца с тою же почти наивностью, с которою величается объявленная одалыка диадимой венчанного властителя.

– У тебя вечная страсть подводить все на свете под какие-нибудь категории и выводить логические результаты из того, что не имеет ни какой логики, как любовь и вообще сердце, а особенно женское, сказал юноша с приметным желанием переменить предмет разговора.

Непричастный празднику, который давался у него в доме, он переходил от одного карточного стола к другому, скитался из угла в угол, из комнат на террасу, пока то утихала, то снова разгоралась шумная беседа и пока утренние лучи солнца не потушили огней.

Оставшись один, молодой человек не в первый уже раз перечел микроскопически сложенную и мелко исписанную записочку.

«Приезжай, ради Бога приезжай, Анатолий. Завтра я жду тебя, я нарушаю свое запрещение и непременно хочу тебя видеть. Я безумно люблю тебя, так сильно люблю, что душа изнемогает. До сих пор ты сам удивлялся моей твердости. Ты не понимал, как могу я любить

так спокойно, без искушений и без страдания, без всяких требований, даже без знаков взаимности. Я любила одна, гордо и независимо, без воздаяния, без радостей, с заветной грустью в сердце – и эта грусть была как темная обители в которой любовь мерцает светлее. Я люблю в каком-то бодрственном, здоровом состоянии; моя любовь не нарушала ничьего покоя, она не касалась ни чьих прав; глубоко зарытая в душе моей, она пламенела святою религией, которую набожно исповедывало мое сердце, боясь омрачить ее твоим прикосновением – ты легкомыслен и развратен, Анатолий, я это всегда знала и это знание не возмущало меня. До сих пор ни ревность, ни страсть не были причастны любви моей; я сохранила в ней отпечаток суровой, холодной родины моей – я любила разумно и великодушно. . . . и вдруг какое-то страшное неразумие овладевает мной, как будто рассудок мой помрачается, как будто какое-то неодолимое усыпление отягощает меня; глаза кои слипаются, и если бы ты знал, какой чудный, волшебный мне снится сон, который то волнует, то пленяет меня, и я, бедная, слабая женщина, не в силах оторвать себя от этого сладкого видения. . . .»

Робкое, юное создание, подумал юноша: никогда еще не встречал я столько пламени и чистоты в таком нежном образе. Много знал я женщин, многих любил из них, но с тобою готов бы был бежать на край света, жить для твоего счастья, хранить тебя как святыню, врученную небом, чтобы не омрачило светлой души твоей тлетворное веяние жизни. Вверхсь мне, мой прекрасный ангел, отдайся мне, я проведу тебя под крылом любви моей и вознесу тебя к Творцу твоему чистою и прекрасною: это будет мое земное назначение, мой благой подвиг, который я представлю Богу как залог блаженства вечного. . . . Ты называешь себя бедной, слабой женщиной – да, моя Марианна, женщина слаба, когда она не любит, когда не ограждает ее любовь безграничная, неусыпная, – а с нею она всесильна. . . . Что пугает тебя во мне, дитя? Ты считаешь меня развратным; но не сама ли ты говорила мне столько раз, что когда я с тобою, ты не веришь, чтоб я был порочен? Твое ли присутствие очищает меня или не касается любящей души моей тина, в которой погрязаем мы, увлеченные омутом жизни, которой ты не понимаешь, мой младенец. . . . Не доверяя мне, как же можешь ты любить меня так прекрасно? Странное создание! Ты не боишься моей незаслуженной славы, ни человека стяжавшего над тобою право – ты не таишь любви своей от равнодушной злобы; бросаешь тайну свою с такою безрассудною дерзостью; клеветешь на себя – и я один это знаю. Меня одного боишься ты как врага своего!..

Мысль о завтрашнем свидании волновала сердце его каким-то сладким замиранием. Смутно мелькнуло в голове его однажды воспоминание о неприятных впечатлениях того вечера – образ стяжательной Сарры, неистовая фигура страждущего недугом самолюбия юноши, нескромность болтливого приятеля и какое-то вовсе не веселие, которое умели находить гости его на ароматном дне бутылок, и он заснул, убаюканный розовыми надеждами.

II. Роковая минута

На другой день легкий венский экипаж, запряженный парой серых бегунов, подвез его к крыльцу одной из соседственных загородных дач.

Ловко прыгнул молодой человек на ступени крыльца. Прекрасный счастливым чувством, которое оживляло его, влюбленный и радостный взошел он в гостиную, открытые двери которой выходили на взморье.

При его появлении невидимый огонек пробежал на свежем личике молодой женщины, приотившейся в углу мягкого дивана. Глаза её блеснули таким блеском, который ослепил бы взглянувшего на них.

– Редкий гость! вскричал вчерашний дородный мужчина с теми же звездочками на каком-то сюртуке-халате, который обнимал дородную фигуру его так ловко, что ни одна одежда не могла, казалось, идти ему более к лицу.

Хозяйка легким наклоном головы приветствовала вошедшего и молча указала ему на ближний стул. Это грациозное движение высказало какое-то дружественное обращение и заменило обычное слово, в котором дрогнула бы, может-быть, слишком ясная, живая нота.

– Ну, как угомонились ваши вчерашние петушки? спросил хозяин с таким искренним хохотом, от которого похорошела его добрая физиономия.

– Разошлись курочками, отвечал гость.

– На что похожа эта растрепанная молодежь, продолжал старик: таков уж, видно, дух времени. Нынче что ни недоросль, то проповедник, каждый недоученый студент – философ, и чем положе ус, тем шире горло. Кричат, друг друга не понимают и не слышат, и, нечего сказать, не жалеют посторонних ушей. Как например как иступленный защитник Лафарж.

– Я замечаю, что бедный ваш Ляликов болен, сказала молодая женщина: он раздражен как-то больше обыкновенного.

– То-то, вывелись на святой Руси богатыри, завелись тщедушные гении.

– Однако ж он страдает, заметила с женским заступничеством хозяйка, и насмешливый Иврин так любить дразнить его.

– Я зову этих страдальцев мучениками неразумия. Отыщите причину их страдания – дрянное самолюбие, дрянная гордость, которая доводит их до ничтожества. От этого страдания у них делается неварение желудка, которое производит скопление желчи, разрешаемое такими демонскими рацеями, от которых трещат уши говорил с возрастающим одушевлением старик, не замечая, что собственная его желчь раздражалась и что другим путем он впадал в тот же недуг общего недовольствия.

– Но всякое страдание, как бы безумно оно ни было или ни казалось, вызывает наше участие, и если мы не можем понять или уважать его, мы все же невольно ему сочувствуем. Причина страдания может-быть химера, но самое страдание не отрицаемо.

– Женский толк, мой друг; химерное страдание есть преступление. От здравости членов зависит здравость тела, от здравости каждого зависит здравость общества.

– Бог ведает, когда общество достигнет этой здравости! Когда оно ее имело? Тут есть какая-то страшная нерешенная задача, – сказала женщина с своею инстинктивною верою.

Молодой человек, который слушал диссертацию о страдании с приличным лицом и с искренним страданием в сердце, от принужденности своего положения, почувствовал участие к последним словам Марианны – он взглянул на нее так неосторожно, что входящий Иврин схватил на лету целый нескончаемый смысл этого взгляда.

Он влетел на боевых конях в их развивающееся рассуждение, завладел, по привычке болтливости, разговором, засыпал сентенциями, но и сам, как ретивый конь, который не поберег сначала сил своих, почувствовал утомление.

Хозяин совершенно сбился с ним с толку. Неукротимый, бурный поток речей Иврина своротил его с затверженной логики. Не зная где найти себя, он спросил, кто завтракал сегодня в палероале?

– Одна председательница наших кофейных – северная княгиня с своею безбородою свитою, все на водах, отвечал он, довольно расположенный переменить материю.

Разговор перешел на воды, но как-то не завязывался, сбился на оперу, свернул от примадонны на лихорадочное поветрие, перепрыгнул на политику и погряз в литературе.

Понятно, что беседа, в маленьком заседании, в присутствии любящейся четы не запрядется в длинную радужную нить, усыпанную блестящими искрами остроумия, в которой приятные оттенки сливаются в такие неожиданные переходы. Эгоистическая любовь не отвечает ни на какие замысловатые вызовы, она ничего не слушает, все надоедает ей – и она готова поразить всякое красноречие громовым началом речи Цицерона: *Quousque tandem abatero o Catilina patientia nostra.*

При всей неистощимости Иврина, при всем стараний его оживить вялую беседу, она дремала. Хозяин, расседлав езжалого конька своего – юное поколение, не углублялся в другие предметы; Анатолий и Марианна не возобновляли материалов – они были в одном из тех роковых раздражительных мгновений, когда задушевное слово сильно погасит целую бурю сердца, а невозможность произнести его взрывает вулкан.

По истечении узаконенного срока, Анатолий Ройнов должен был встать. Он поклонился с обыкновенною спокойною ловкостью; но в этом спокойствии было совершенное отчаяние. Сердце Марианны сильно забилося. Отдавая прощальный поклон, она едва заметно отделила два пальчика бледной руки своей, что значило два часа пополуночи на берегу залива. Уходящий поклонился вторично; но в глазах его блеснула радость.

III. Две зори

Закатывалось красное июльское солнце в фиолетовые волны Лимана, отражаясь в них обаяющим золотом. Небозримая масса воды походила на огромный, живой аметист, усыпанный бесчисленными горящими звездами. Небо казалось в пожаре.

Марианна смотрела на великолепную зорю одна с того самого угла дивана, с которого она как-будто не двигалась с самого вечера. Глаза её были заплаканы; она чувствовала мучительное бессилие. Мысли её цепенели.

Час тому назад, она пережила целый год. Зрителем глядела она в перспективу минувшего, и память с изумительной верностью уставляла перед глазами её воспоминания прошедшего. Она, казалось, видела его впервые, и последовательно представлялись ей все их свидания. Былые волнения снова взволновали ее, былые страдания снова стесняли душу. Мимолетные радости, тяжкое прозрение, неодолимое недоверие – все было тут. Весь свиток жизни её вернулся перед нею.

Необходимость обручила ее человеку пожилому, имевшему некоторое значение в обществе, которого семья назначила ей покровителем и благодетелем. Религиозно приняла она жребий свой и легко его полюбила. её пятнадцатилетняя логика осветила ей будущность самым розовым, пленительным светом. С чего-то ей представилось, что преклонные лета имеют непосредственно свои недуги и печали, которые облегчаются заботами и любовью. Я буду живым пышным цветком в терновом венце его, думала она: буду ангелом-хранителем его старости – и бесстрастный, нежный ребенок прильнул горячим сердцем к стынувшей груди.

Первые годы супружества эта чета гармонировала в спокойном, безмолвном союзе. Утомленный в тревогах жизни, муж отдыхает в эгоистическом бездействии – младенец-жена его еще не вкушала жизни.

Необходимая болезнь молодости – лихорадка любви, не воспламеняла еще молочной крови. Ядовитый цветок, созревая в груди, не открывал еще опасной коронки своей.

Через несколько времени с каким-то странным изумлением молодая женщина убедилась, что тот, для которого она приготовила столько ласк и попечений, благодаря Бога, вовсе в них не нуждался; что он был крепок и силен и доволен собою как-нельзя больше, и что, следовательно, она была вовсе не райский цветок утешения, не ангел помощи и любви, а хорошенькая игрушка, которой назначено занимать свое место в гостиной дома или на общих сходбищах света.

Оценив свое положение, она помирилась с ним в младенческом незлобии и усердно принялась за исполнение своего призвания: самое утонченное, самое глубокомысленное сочетание лент и кружев и дымчатых тканей окутывали своими радужными облаками прекрасное создание, так артистически, что ни одна неизменная жрица моды не могла с нею сравниться. Каждое утреннее *négligé* её для одного мужа было так же обдуманно, так же безукоризненно, как и роскошный вечерний наряд её в опере. её милое, благотворное кокетство начиналось в кругу избранного общества и не оканчивалось наедине с её горничной.

Веселая, остроумная болтовня её отзывалась каким-то забавным своенравием, какою-то игривою дерзостью, которая отличала ее от однообразных, верных послушниц света – и гордые его диктаторы не казнили милой отступницы под влиянием неотразимого её очарования.

Но эти привилегии, в раздушенном искусственном мире, где кружилась она под звуки упоительной музыки в нескончаемом вальсе, сокрушались в закулисном углу домашнего пепелища. Она стала замечать, что старость точно имеет свои недуги – ребяческую раздражительность, которая помогает обращению густеющей крови, и старческую горечь, которая, как оскомина, остается от труда жизни. Мало утешительных, драгоценных исключений из этого общего жребия. Ребенок при всем великодушии своем не умели сознать этого непреложного закона.

В молодом сердце её пробуждались требования какого-то воздаяния за чистый и жаркий пламень, который сжигал его и, омрачая снисходительность светлой природы, делал ей невыносимыми эти маленькие терзания, которые вовсе незначительны в отдельности и нестерпимы в массе – так же как укушение комара есть минутное ничтожное беспокойство, которое обращается в бедствие при несчетном повторении.

Тягость этого положения давила жизнь молодой женщины, как гнетет воздух туча, которая обнимает горизонт пасмурной пеленой своей и не разрешаясь грозю, теснит грудь и вливает тоску в сердце. Тоска рождает раздумие, а оно развивает душу. Это страдание предохранило молодую женщину от ничтожества – необходимого следствия условной, изломанной жизни, где распадаются лучшие данные – в нем находила она какую-то грустную отраду и новые муки.

Обманутое сердце её стадо бояться других обманов. Это также внушило ей недоверие и привело к ней привычку анализировать всякую мысль, углубляться на дно каждого чувства. Наша непрерывная метафизическая разработка вселилась, подобно монomanии или какой-то непостижимой придури, в умную её головку, которая, в самой жаркой поре безразсудной любви и легковерия, еще не умела переваривать своих сомнений.

В эту смутную эпоху судьба толкнула на дорогу её пылкого юношу, полюбившего ее всею способностью безумного сердца. Они, казалось были созданы друг для друга, нравственные возможности их были равносильны, их терзал один недуг и они гармонировали в одном парадоксе; только проявлялся он в них как-то различно. Юноша верил – и сомнение застало его врасплох, в минуту самого жаркого верования. Марианна не доверялась, берегла бедное сердце свое, и также неожиданно отдавалась вере, которая снова ее обманывала.

Целый год времени от первого произнесенного люблю сомкнулся для неё в один жаркий миг сладкого страдания. Вчера написала она ему первое страстное письмо, сегодня назначила первое роковое свидание. Мысль об нем налетала зловещей птицей на робкое сердце Марианны, заслоняя его черным крылом своим; а в глубине, тайная, трепещущая, звучала радость.

Она смотрела бессознательно на утопающее в море солнце, которое кровавым заревом освещало на горизонте последнее облачко. Огненные пары окутывали лучезарною сетью прозрачный образ его; клубясь, расстилаясь, играя последними догорающими лучами, они постепенно и незаметно в нем угасали, как дева, сложившая праздничную мантию и диадиму, в белой одежде ангелов творящая вечернюю молитву, легкое облако предстало тревожному взору Марианны во всей бесплотной чистоте своей. Она закрыла пылающее лицо руками и замерла в неизъяснимой муке.

Спокойный свод постепенно темнел. Нисходила торжественная тишина, таящая высокий глагол, проникающий душу благоговением, и море, за минуту обьяринное, искристое, умолкло. Едва-едва касаясь берегов сонная плескала волна. Марианна слышала биение своего бедного сердца; взор её утопал в непроницаемой черноте ночи.

Подул свежий ветерок; листочки дерев зашептали, вызывая отклик встающей волны. блеснула первая алмазная звездочка – и засветился весь небосклон бесчисленными огнями. Окружная степь облилась лучом месяца и засеребрилась каким-то волшебным сиянием.

«Нет, сказала себе, вдруг опомнившись, молодая женщина. Я буду иметь мужество одолеть эту муку! я не изменю себе. все минует, и горе и радость, и тоска и томление, – пусть же минет и это сладкое страдание и это страшное терзание. Как знать, не заблуждаюсь ли я и собственном чувстве, от которого замирает душа моя и помрачается рассудок, и что испытает сердце чужое?..»

Она опрокинула каким-то решительным движением прекрасную головку свою на спинку дивана и как-будто окаменела в этом положении.

А между-тем безотчетно, смутно роились в голове её понятия, что муж её не возвратится сегодня, что он остался в клубе, а застава порто-франко не поднимется до утра.... Но разве в первый раз это случилось? Так проводит она каждое лето – может провести и остальную жизнь.

Еще одно, одно тяжкое усилие, и она восторжествует. Еще одна и одна мука – и она одолеет последнее искушение. Эта светлая мысль низвела чудный мир в её душу.

Пробило два часа. Тонкий, серебристый, дрожащей струне подобный звук раздался в темном покое и ударил прямо в сердце бедной женщины.

– Он ждет меня, подумала Марианна, и как облачное воздушное здание от дуновения ветру, разом рассеялись все зазрения младенческой совести, все недоверия страждущего сердца – она бросилась в растворенные на террасу двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.